

**ФИЛОСОФСКИЙ ЯЗЫК В РОССИИ XVIII ВЕКА:
МЕЖДУ ФИЗИКОЙ И МЕТАФИЗИКОЙ**

В статье анализируется ситуация в истории русской науки указанного периода, характеризующаяся отсутствием развитой системы философских понятий. Указанное обстоятельство вынуждало философов заимствовать термины из других философских систем и адаптировать их на русской почве. Автор исследует историю появления многих философских и научных понятий, раскрывает тенденции их существования в русском философском языке, приводит соответствующие примеры.

В эпоху Просвещения «физика и метафизика» еще не спорили о первенстве, а спокойно уживались вместе под покровительством «царицы наук» философии. Они имели общие методы исследования, один и тот же объект изучения и даже одинаковую терминологию. Мыслители того времени часто и сами не очень-то различали, кто же они — физики или метафизики, и считали себя сведущими одновременно в двух областях. Это отразилось и в текстах, в которых естественные рассуждения соседствуют с философскими комментариями, а изложение результатов экспериментов и опытов следует за обширными мировоззренческими введениями. Сам способ описания естественных законов, система аргументации, ориентация на авторитеты демонстрировали приверженность определенной философской позиции или метафизической системе.

Именно поэтому для историка идей представляют интерес тексты, посвященные не только философской проблематике, но и научные тексты по физике, математике, биологии, географии, содержащие, как правило, обширные фрагменты философского характера, словари, периодические издания и даже учебники¹.

Научная лексика, а следом за ней и натурфилософская, была более обработанной, более развитой и более интернациональной, нежели лексика социальных наук и метафизики². Это было связано с тем особым вниманием, которое уделялось науке в первой трети XVIII века, и ее активной поддержкой государством. Кроме создания Петербургской Академии и позже Московского университета и приглашения для службы в Россию большого количества зарубежных специалистов, можно отметить поощрение перевода западно-европейской литературы, прежде всего научной, на русский язык.

Главным инициатором издания, а также своеобразным редактором научных книг был сам Петр. Он был озабочен прежде всего передачей смысла и высказывался так: «выразуметь сенс, а не хранить речь от речи», настаивал на внятном письме без излишних иноязычных и высоких славянских слов, на лаконичности «без немецких пустых разговоров» и на твердом знании предмета («художества»)³. Кстати, само понятие «художества» и соотношенное с ним «науки и искусства», представляли собой пару категорий, выражающих различие технического и научного знания. Текст петровского указа «О приуготовлении переводчиков книг обучением их художествам» от 23 января 1724 года гласил: «Для переводу книг зело нужны переводчики, а особливо для художественных...». Если сделать в этом месте паузу и не прояснить понятие, то можно подумать, что Петр собирался переводить стихи и романы⁴, однако в понятие «художественные» Петр вкладывал совсем иное содержание, понимая под ними «ремесла», «понеже никакой переводчик, не умея того художества, о которм переводит, перевесть то не может; того ради заранее сие делать надобно таким образом: которые умеют языки, а художеств не умеют, тех отдать учиться художествам, а которые умеют художества, а языку не умеют, тех послать учиться языкам, и чтоб все из русских, или иноземцы, кои здесь родились, или зело малы приехали, и наш язык как природный знают, понеже а свой язык всегда легче переводить, нежели с своего на чужой.

Художества же следующие: математическое хотя до сферических триангулов, механическое, хирургическое, архитектур, цивилис, анатомическое, ботаническое, милитарис, гидроика и прочия тому подобныя»⁵.

В XVIII веке русский язык не относился к числу «ученых» языков: социальный диалект ученого сообщества, а

тем более система философской терминологии, еще не были сформированы. Коллегия академических переводчиков, завершив перевод академических «Комментариев» («Краткое описание комментариев Академии наук. Ч. 1, 1728»), обращалась к читателю: «Не сетуй же на перевод, якобы оный был невразумителен и не весьма красен, ведати бо подобает, что весьма трудная есть вещь добре переводити, ибо не только оба оные языки, с которого и на который переводится, совершенно знать надлежит, но и самыя переводимыя вещи ясное иметь разумение»⁶.

Для мыслителей того времени на первом месте стоял идейный смысл того или иного произведения, ценимый ими больше, чем точность перевода, авторитет автора и принадлежность его к какой-то определенной культурной традиции. Это была эпоха массовых анонимных переводов. Далеко не всегда издатель считал нужным указывать кем выполнен тот или иной перевод, кто является автором оригинального текста и на каком языке он написан. Допустимы были ссылки на сочинение «одного английского (немецкого, французского) автора», а то и вовсе указывалось: «перевод с иностранного». Считалось, что главное — познакомить уважаемых соотечественников с интересными рассуждениями и актуальными идеями. Иногда перевод делался не с того языка, на котором было написано произведение, а с посредника. Так, одного из любимых авторов английского поэта и философа Э. Юнга переводили и с французского⁷, и с итальянского⁸, и с немецкого⁹, с французского переводили Д. Локка¹⁰, Д. Юма¹¹ и Д. Бенгтама¹², Х. Блэра¹³, с немецкого—А. Фергюсона¹⁴. Был распространен жанр сокращенных переводов или «сокращений», порой снабженных обильными комментариями и отступлениями переводчика. «Я любил читать прекрасное стихотворство Юнгов о: удивляюсь его дарованию... Мне хоте-

лось иметь его простее и соразмернее силам моего ума...», — пишет анонимный переводчик. Это желание заставило его полностью изменить структуру поэмы (оригиналом служил «Плач... или ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии в девяти нощах»), сократить текст, убрать повторы, разделить произведение на главы по проблемам, а не «по ночам» и т. д. Поэтическое произведение, таким образом, превратилось, в соответствии с замыслом переводчика, в философский трактат.

Неразработанность философской лексики затрудняла как перевод, так и создание оригинальных философских сочинений. Г. Н. Теплов, автор одного из первых популярных пособий, вводящих русского читателя в круг проблем европейского философствования, признавался, что он «вынужден о философии не философскими словами говорить» или обращаться к чужому, но «ученому» языку. Однако эта проблема не была специфически русской. Так, например еще Лейбниц жаловался на неприспособленность немецкого языка к философствованию и писал свои сочинения по-французски или по латыни.

Однако если в области «гуманитарной» философии, рассматривающей проблемы человека, общества, истории, морали, эстетики, даже теоретического богословия, вопрос как-то решался с помощью метафоризации понятий и использования форм художественной литературы, литературной критики и свободной эссеистики, то такие направления философского знания, как логика, метафизика и натурфилософия требовали более строгого категориального аппарата, а следовательно и терминологической базы. Языковая ситуация в этом случае (а позже это распространилось на все остальные философские направления) пошла по пути оснащения языка профессионального философствования иноязычной терминологией и создания социального диалекта ученого сообщества.

Огромное влияние на этот процесс оказал авторитет немецкого философа и ученого Христиана Вольфа. Этот мыслитель был одним из популярнейших в Европе в первой половине XVIII века. Его лекции в Марбургском университете в 1736–1739 годах слушал М. В. Ломоносов. В эти годы Вольф читал курсы всеобщей математики, алгебры, астрономии, физики, оптики, механики, военной и гражданской архитектуры, логики, метафизики, политики, нравственной философии, естественного и народного права, географии, хронологии¹⁵, демонстрируя просвещенческую ученость и делая молодому российскому студенту «прививку» энциклопедического взгляда на мир.

Христиан Вольф впервые стал философствовать по-немецки. Он разработал или ввел в научный обиход ряд терминов, широко используемых и в современном «цеховом языке», например «дуализм», «плюрализм» «монизм», «онтология», «психология», «телеология» и т. д. Философия Вольфа в явном или неявном виде была популярна в России чрезвычайно, вольфианство преподавалось в российских университетах фактически на протяжении двух с половиной столетий¹⁶. Став в Германии своеобразным «философским Лютером», он спровоцировал обращение к философствованию на национальном языке и в России.

Популярность Христиана Вольфа двояко повлияла на философскую лексику. С одной стороны, именно вольфианство было первым мощным поставщиком философской терминологии на иностранном языке, а с другой, пример немецкого философа послужил важным стимулом создания национального философского языка.

Это было отмечено Г. Н. Тепловым, уже упоминавшимся нами автором первого учебника по философии «Знания, касающиеся вообще до философии для

пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут» (СПб.: [Печ. при Имп. АН], 1751). «Вольф, профессор, — пишет он, — за свои переводные слова философские был от многих, а наипаче от Лейпцигского университета посмеян, а ныне нигде так, как в Лейпциге, в университете, вошли слова его перевода в употребление. То же случится имеет и в русском языке». Сочинение Теплова предваряет «Объявление слов, которые в философской материи по необходимости приняты в том разуме, как приложенные к тому латинские и французские разумеются». Такие словари довольно часто сопровождали переводные книги по философии. Так, например, переводчик Александр Фрязиновский счел необходимым дополнить издание Иоанна Эверарда Швеллинга «Бессмертие души основательно против безбожников и скептиков доказанное...» (СПб., 1779), приложив к нему «Роспись неупотребительным словам на российском языке содержимым в книге о *Бессмертии души*». В этом ряду можно отметить также «Опыт философского словаря», составленный профессором Петербургского педагогического института А. И. Галичем и помещенным в качестве приложения к его труду «История философских систем»¹⁷.

Анализируя словарик Теплова, можно отметить, что в качестве «неупотребительных» оказываются отнюдь не специальные термины — «онтология», «дуализм», «пневматология» и т. д., а понятия, реально существующие в русском языке, но имеющие в нем смыслы, далекие от четкой определенности категорий, — такие, как: «бытие» (*ens*) и «бытность» (*existentia*), «вещество» (*substantia*) и материя (*materia*), а также — «движение» (*motus*), «образ» (*modus*), «разум» (*ratio*) и т. д. Теплов был прав, ибо незнакомое слово иностранного происхождения всегда можно посмотреть в словаре, но распознать новое (или забытое) значение слова, которое часто встречается в языке,

да еще имеет обыденные смыслы, возможно не всегда.

С проблемой такого рода сталкиваются современные исследователи, обращающиеся к текстам эпохи Просвещения или к переводам того времени. Так, например, в публикации сочинения Лейбница «Опыт теодицеи о благодати Божией, свободе человека и начале зла»¹⁸ был использован перевод, выполненный К. Истоминым, впервые опубликованный в журнале «Вера и разум» в 1887–1892 годах. Несколько архаичный и для XIX века перевод Истомина совершенно запутал тех, кто не читал «Теодицею» («Essais de Théodicée») в оригинале, на французском языке, в том фрагменте, где Лейбниц говорил о трех причинах мирового зла. Как известно, мыслитель предложил дифференцированное понимание зла как *метафизического, физического и нравственного*. Зло физическое и моральное не является необходимым. Оно возможно лишь как следствие зла метафизического. Последнее же является результатом принципиального несовершенства тварного по отношению к Творцу. Поэтому зло имеется даже в самом лучшем из бесконечного количества возможных миров. Так вот, если *метафизическое* зло объяснялось как *простое несовершенство, зло нравственное* — как *грех*, то объяснение в тексте перевода зла *физического* — как *страдания*, понимается, требовало пояснения. Современные смыслы этого понятия относят его исключительно к нравственной области, что делает физическое зло абсолютно неразличимым с злом нравственным. Во французском же языке, как и в русском языке XVIII века (что, впрочем, могло быть и калькой с французского), *страдание* (в оригинале *souffrance*) в данном контексте имело смысл «претерпевание», «испытание воздействия». Если мы учтем эти смыслы, то все становится на свои места. Термин «страдание» часто использовался в сочинениях и учебниках по физике для

описания факта воздействия одного материального тела на другое и, отражая факт или возможность физического воздействия, имел значение, далекое от морального. Исключительно механический смысл имело также понятие «леность» (иногда — «грубость»), означающее «инертность»¹⁹.

Возвращаясь к Теплову, отметим, что мыслитель старается не злоупотреблять профессиональным жаргоном, оговаривая употребление даже тех немногих понятий, без которых невозможно обойтись, таких как: *тождество, правдоподобие, бытность, идея, предугверение, предрасуждение* и проч. Однако он не очень точно следовал своему вокабулярию, пытаясь сформулировать собственную систему философских категорий.

Описывая процесс познания, или, иными словами, «средства, надобные для употребления разума нашего в исследовании истины», Теплов в качестве одного из них называет перцепцию. В тексте девятой главы он пишет о том, что **перцепция** — это «понятие» (в смысле «понимание»), однако в «Объявлении слов, которые в философской материи по необходимости приняты в том разуме, как приложенные к тому латинские и французские разумеются» он пишет о том, что «perception» (фр.) или «Perceptia» (лат.) — это «воображение». С другой стороны, «воображением» в это время называлось не только «воображение в смысле фантазии», но и «представление» в современном эпистемологическом смысле. Собственно «понятием» здесь названы «Notio sive idea» (лат.) или «идей» (фр.). Маловероятно, что Теплов не давал себе отчет в употреблении понятий (терминов) или путал их. Я думаю, что он просто не употреблял их в строгом смысле, допуская определенную синонимию в употреблении как русского, так и «ученого» языка.

Наблюдая в природе постоянные изменения, Теплов приходит к мысли исследовать феномен причинности. Он рас-

смачивает систему категорий «причина—следствие», что получает у него название «вина—эффект». Конечно, Теплов здесь терминологически некорректен, ибо смешивает традиционно антропоморфное и «суперполисемичное» понятие «вина» и строго научное физическое понятие «эффект». Однако Теплова можно было бы обвинить не более, чем в погрешности против стиля. В эпоху «единства физики и метафизики» понятия достаточно часто являлись достоянием двух различных сфер знания. Так, категория «причина» могла выражаться понятиями «вина», «сила», категория «следствие» — «конец», «эффект», «произведение».

Теплов «выпрямляет» каузальные переплетения, демонстрируя, что все линии сходятся в одной точке — Боге, являющемся «первой виной» всего сущего. Кроме «первовины» Теплов предлагает выделять «просто вину» и «посредство», то есть то, что послужило непосредственным орудием совершаемого воздействия. Случайность, «азард», «удача», «слепой случай», «ненарочитость», «ненарочность», по мнению Теплова, служит нам лишь «на закрытие нашего незнания»: «Когда мы не умеем прямой сыскать вины какой-нибудь вещи, то обыкновенно ссылаемся на азард или ненарочность»²⁰. На самом деле, все существующее в мире имеет причину, даже Бог, который есть причина самого себя. Следует, конечно, различать причину и «соединение посредством». Когда одна чаша весов опускается, то другая поднимается вверх, однако причиной этого является не то, что первая чашка весов **опускается**, а то, что она **тяжелее** второй. Двигаясь по узловым точкам соединений, мы можем исследовать причинные связи. Однако они не являются бесконечными: *«от вины к вине не можно поступать бесконечно»*²¹, ибо метафизическим «концом», а точнее, «началом», является Бог.

Теплов уделяет большое внимание проблеме времени, равно как и системе

категорий и терминов, необходимых для рассуждений на эту тему. Он рассматривает понятия «долгоденствия», «вечности», «предвечности», «безначальности», «бесконечности»: «В пребывании или в продолжении пребывания мы понимаем начало и конец, а ежели то отнимем, то продолжение пребывания называется вечное. Отнимем одно только начало от пребывания, то оно будет предвечное или безначальное. Возьмем прочь конец, то будет вековое или бесконечное»²². Время не имеет дискретного характера. Невозможно выявить «атом» времени, или, как говорит Теплов, «пункт или точку невидимую», составляющую «естественную» единицу времени.

«Словарь Академии Российской» называет еще одно понятие измерения времени: «миробытие» — «продолжение времени, в которое мир бытие свое имеет»²³.

Социальная темпоральность будет иметь уже другую лексику. Осмысление «неуловимого» времени предполагало включение в число исторических дисциплин специальной науки *хронологии*, которая, как отмечает профессор Московского университета Филипп Генрих Дильтей, «обучает нас полагать время каждому приключению, когда оно происходило»²⁴. Для обозначения времени вводятся «особливые слова»: «век», «лустр, или пятилетие» (употребляется только в стихах), «олимпиада», «эгира» (хиджра — понятие, связанное с началом мусульманского летоисчисления — днем 26 июля 622 г., когда Мухаммед переселился из Мекки в Медину), «солнечный круг» (28 лет), «лунный круг» (19 лет), «индикт» (15 лет, мера времени, употреблявшаяся в Древнем Риме), «анахронизм» и «период Юлианский». Более крупные категории — это «эра» и «эпоха». «Эра» — «основание времени, определенное каким-нибудь особливым народом, от которого начинают считать годы»; «эпоха» — «есть утвержденная точка, или определенное и примечанию достойное в истории время,

которое, будучи обыкновенно установлено в некотором особливом приключении, употребляется хронологистами, начинающими считать годы»²⁵.

Формирование философской лексики прошло несколько этапов и было связано как с формированием собственных философских концепций, так и с усвоением традиций, уже сложившихся на Западе.

В первой трети XVIII века можно отметить тенденцию перевода (переложения) терминов (*номиналисты — словесники, реалисты — вещественники, умозаключение — винословие, философия — любомудрие, логика — словесница, физика — естественница, метафизика — преестественница*) и т. д.

Научные и натурфилософские термины также получали свое наименование, на русском языке зафиксированное: например, астрономия — звездозаконие, астроном — звездозаконник (иногда «звездозритель»), при этом астролог — звездоблюстител, звездогодатель, впрочем, дифференциация была не очень внятной²⁶, так как «Словарь Академии Российской» приводит варианты: астроном — звездоблюстител, но астрономия — звездословие. Были попытки русификации понятий отдельных наук, например, математики. Предлагалось называть их так: тело — солидум, вершина — острина, центр — ость, фигура — образ, диаметр — размер, сектор — иссек, параллельная — минующая, гипотенуза — подтягивающая, минута — лепта, секунда — вторая лепта, сумма — купа, пропорция — примерность²⁷.

Переводчикам приходилось или скрупулезно описывать каждое понятие, что было, конечно, малоэффективно и неизбежно отвлекало от усвоения основного содержания, или использовать иностранные термины, которые, будучи терминами другого философского «мира», неизбежно воспринимались как метафоры. Так А. Кантемир, переводя «Разговоры о

множестве миров» Фонтенеля в 1730 году, вынужден был объяснять чуть ли не каждое понятие, в том числе такие, как «философия», «логика», «ифика» («этика»), «физика», «метафизика», «система», «идея», «материя», «натура» Для того чтобы передать философское значение слова «вихрь» (*tourbillion*), ему пришлось воспроизвести довольно длинный пассаж из сочинения последователя Декарта Пьера Региса, т. е. помещать это слово в контекст картезианской системы.

Однако центральным в кантемировском переводе стало понятие «мир». Известно, что это слово имело разные смыслы в зависимости от того, с каким «и» оно писалось — восьмеричным или десятеричным. «Словарь Академии Российской» отмечает эти значения.

Мир это: «1) Тишина, спокойствие, согласие народа или государства с другими народами... ; 2) Самый договор, на котором основано или заключено спокойствие между двумя или несколькими государствами... ; 3) Согласие, любовь взаимная, противоположается ссоре».

С другой стороны, «**мир**» с десятеричным «і» это: «1) Весь свет; небо и земля и все, содержащееся в оных... ; 2) Вселенная, подсолнечная, шар земной; 3) Люди, населяющие землю; 4) Общество, собрание жителей какого-либо селения»²⁸.

Таким образом, «мир» — это и вся Вселенная, и один только «шар земной». На этом основан парадокс «множества миров», в фонтенелевском смысле означающий «множество планет, подобных Земле», а с точки зрения его противников, — «множество созданных Богом Вселенных».

Этот парадокс прекрасно был объяснен Л. Эйлером. В «Письмах о разных физических и философских материях, писанных к некоторой немецкой принцессе» (а именно маркграфине Софии-Шарлотте Бранденбургской, юной родственнице Фридриха II). Эйлер продемонстрировал связь философских и физических пред-

ставлений, в то же время по возможности четко отделив их естественнонаучный смысл от метафизического. Так, анализируя учение о возможности *множества миров* и полемически противопоставленное ему вольфианско-лейб-нецианское положение о *наилучшем из миров*, единственном, имеющем статус существующего, Эйлер показывает, что в данном случае мы сталкиваемся с элементарной логической ошибкой — подменой тезиса, так как понятие «мир» в первом случае рассматривается как физическое, а во втором — как философское понятие. В физическом смысле мы подразумеваем под «миром» или систему звезд с планетами (именно такие «миры» имел в виду Фонтенель, когда говорил об их «множестве»), или планетарную систему — «Землю со всеми животными ее обитающими, и в рассуждении сего каждая планета и каждый спутник равное право имеет сим именем называться, потому, что больше нежели вероятно, что каждое из сих тел так как и Земля обитаемо»²⁹. Мир как единство — это иное понятие: «В сем смысле слово мир берется в философии, где за главное основание полагается, что один только мир, который заключает в себе все, что ни создано прежде, что ныне созидается, и что впредь создано будет»³⁰.

Российские мыслители пытались порой прояснить терминологическую путаницу созданием собственных понятийно-категориальных систем. В «Слове о мудрости, благоразумии и добродетели» В. К. Тредиаковский на 79 страницах *in quarto* приводит более двухсот латинских и греческих терминов, проясняющих смысл текста. Кроме того, в примечаниях к своему эссе он помещает «французский с греческого перевод философским званием, в сем «Слове» употребленном по-славенски, сделанный нарочно в пользу умеющих и знающих по-французски, для лучшего им понятия оных знаний». Предусмотрительность Тредиаковского оказывается актуальной и для современного читателя: как иначе можно понять, что

под «простым опытом» он понимает историческое и эмпирическое знание (*historico, empirico*), а под «основательным» — философское и научное (*philosophico, scientifico*), под «существом» — субстанцию (*substantia*), под «естественностью» — сущность (*essentia*), под «образом тел» — форму (*forma*), под «подлежащим» — субъект (*subjectum*), под «нижайшими свойствами сущего» — «атрибуты» (*attributum*), под «основательным» — абсолютный (*absoluta*). Многие понятия он формирует как кальки латинских слов: «подлежащее» (субъект) — *subjectum* (букв. «лежащий под»), «подложение» (предположение) — *suppositum* (подкладывать, подставлять), смотреливость (созерцательность) — *circumspectio* (смотреть кругом) и т. п.

Порой без латинских эквивалентов трудно понять смысл фразы. Так, рассуждая об этапах познания, Тредиаковский пишет: «...мы по большей части *образованием* (курсив наш. — Т. А.) нашим о добре и зле судим, ибо *образование* не представляет вещей каковы они сами в себе, но или их увеличивает, в чем состоит излишество страстей, или уменьшает, а от сего недостаточны бывают пристрастия: одно твердое рассуждение знает их достолюбезную средину»³¹. Если не принять во внимание, что под «образованием» Тредиаковский понимает *imagination* (представление), то высказывание может приобрести совершенно иной, «просветительский», смысл.

Тредиаковский пытался решить проблему полисемии с помощью латинских терминов. Упорядочивая многочисленные термины с корнем «ум», он снабжает их различными латино-греческими эквивалентами. Так, «умственный» (*rationalis*) работает в системе категорий *rationalis—moralis—naturalis* («рациональный—моральный—натуральный» или «умственный—нравственный—естественный»), «умозрительный» (*theoretica*) помещается в систему *theoretica—practica* («умозрительный—деятельный»), «умствователь-

ный» (*discursivum*) находится в паре категорий *discursivum—intuitivum* («умствительный—самозрительный»), или в современном значении «опосредованный—непосредственный»). Вместе с тем «царственный престол ума», т. е. место, где находится душа, седалище души, он называет *fides mentes regia*, «чистый разум» — *purus intellectus*, «разумность» — *intelligentia*, «ум» — *mens*. Для других гносеологических категорий Третьяковский находит особые эквиваленты: «сила рассудительного размышления» — *facultas reflexive cogitans*, «понятие» — *idea*, «рассуждение» — *indictum*, но «умственное рассуждение» — *intuitum*, а «благоассуждение» — *prudentia*.

В своем философском эссе знаменитый поэт пошел по пути универсализации понятий и передачи гносеологических оттенков с помощью терминов. Однако этот путь не завершился созданием единого философского языка, а остался в рамках его собственного индивидуально-философствования. «Вокабуляр» Третьяковского, как и другие языковые системы, не стал общепринятым, хотя и был довольно тщательно разработан. Нормой философского языка, как, впрочем, и языка вообще, была полисемия, поэтому даже самая совершенная система, построенная на принципе взаимной однозначности понятия и выражающего его термина, не могла органично вписаться в существующую традицию.

Для философских текстов XVIII века была характерна определенная вариативность в обозначении того или иного понятия. Так, «индивидуальный» выражается словами *неделимый, нераздельный, неразделимый, особенный, особливый, единственный, частный*³²; «индивидуум» — словами *человек, люди, лицо, существо*³³; «объект» — *вещь, предлежащая вещь, предложение, предмет, предлог, предлежащее*³⁴; «субстанция» — *средство, тело, существенность, вещь, существо, бытность, самобытность, самостоятельность, само по себе пребывающее*

*средство*³⁵; «представление» — *умоначертание, образование, воображение, мечтание, мысль, умоброщение, умобразование, имагинация*³⁶ и т. д.

Именно неустоявшийся характер философской лексики определял ее попытки приобщиться к международной лексической, построенной на использовании «ученых» языков, прежде всего греческого и латинского. В особенности это касалось метафизики, которая в силу абстрактности формулируемых ею проблем тяготела к универсализации понятий, стремясь к выходу в некий внеисторический интеллектуальный космос, мир абсолютного понимания и постижения. Философские понятия не имели четко закрепленных терминологических эквивалентов, выражаясь целым букетом синонимов. Иноязычные термины, возникшие в другой философской традиции, как бы группировали эти синонимы, обозначали «поля смыслов», но, не имея собственного эквивалента в языке, воспринимались скорее как интеллектуальные метафоры-образы, навеянные поэтикой европейского рационализма. Начиная с Петровской эпохи, «европейское» отождествлялось с политикой государственных преобразований, в какой-то степени было символом «передового», а несколько позже — «культурного» и «образованного». Текст, уснащенный иностранными терминами, не только свидетельствовал о согласии с изгибами мысли философской школы, работавшей в этих понятиях. Он мог говорить о знании идей этой школы, показывая осведомленность и начитанность автора, а также его способность понять и воспроизвести определенную систему рассуждений, его возможность быть информированным, степень его «прогрессивности» или «реакционности». Таким образом, совокупность принятых в западных системах терминов не обязательно играла в русской философии роль категориального аппарата, а имела другой, хотя и достаточно важный для понимания смысл.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См, например: Артемьева Т. В. Учебник как модель мира и социума: Международные чтения по теории, истории и философии культуры. СПб., 1998. Вып. 5.

² «Язык научных книг 30-х гг. и по словарю, и по синтаксису был самым обработанным и совершенным среди прочих жанров и типов литературного выражения этого времени», — пишет исследователь научной лексики XVIII века. См.: Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки. М.; Л., 1964. С. 6.

³ Цит. по: Кутина Л. Л. Указ. соч. С. 6.

⁴ На это обратил внимание С. И. Николаев. См.: Николаев С. И. Первая четверть XVIII века: эпоха Петра I // История русской переводной художественной литературы. СПб., 1995. Т1.

⁵ Полн. собр. законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 7. С. 217.

⁶ Цит по: Кутина Л. Л. Указ. соч. С. 6.

⁷ См., например: Юнг Э. Бытие разумное или нравственное воззрение на достоинство жизни. М., 1787; Вопли Эдуарда Юнга. СПб., 1791 (сокращенное переложение первой, четвертой и пятой «Ночей» Осипа Лузанова, сделанное по переводу Летурнера).

⁸ См.: Страшный суд г. Юнга с перевода г. аббата Алберти. СПб., 1777. В. П. Семенников (Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II. СПб., 1914) полагал, что автором перевода был М. М. Щербатов).

⁹ См.: Плач Эдуарда Юнга, или ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии в девяти ношах. М., 1785. Ч. 1–2 / Пер. с нем. А. М. Кутузова. В русское издание вошли даже многочисленные комментарии, которыми снабдил текст немецкий переводчик Эберт.

¹⁰ Локк Д. Мысли о воспитании. М., 1759.

¹¹ Юм Д. Жизнь Давыда Гумма, описанная им самим, переведена с аглинского языка на французский, а с французского на русский Иваном Мороковым. М., 1781.

Юм Д. Наука к познанию роскоши, сочиненная на английском языке г. профессором Давидом Гюмом, а с оригинала французского перевел на русский язык лейб-гвардии Преображенского полку фуриер и Имп. Московского университета студент Федор Левченков. СПб., 1776.

¹² Избранные сочинения *Иеремии Бентама*. Перевод по англ. изд. Боуринга и франц. Дюмона, А. Н. Пыпина и А. Н. Неведомского. 1867. Т. 1.

(The works of Jeremy Bentham, published under the superintendence of his executor, John Bowring. Edinburgh. MDCCCXLIII. XI vols.; Oeuvres de Jeremie Bentham, jurisconsulte anglais. Trousieme edition/ Bruxelles. 1840. III vols.)

¹³ О начале и постепенном приращении языка, и изобретении письма. Перевод с французского. М., 1799.

¹⁴ Фергюсон А. Начальные основания нравственной философии / Пер. с нем. А. Брянцевым. М., 1804.

¹⁵ Сухомлинов М. Ломоносов студент Марбургского университета // Русский вестник. 1861. Т. 31.

¹⁶ См. об этом: Артемьева Т. В., Микешин М. И. Христан Вольф и русское вольфианство // Философские науки. 1990. № 1. С. 64–74.

¹⁷ Галич А. И. История философских систем, по иностранным руководствам составленная и изданная Главного Педагогического института экстраординарным профессором Александром Галичем. Кн. I–II. СПб., 1818–1819.

¹⁸ Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. М., 1989. Т. 4. С. 69.

¹⁹ См. Артемьева Т. В. Философия в Петербургской Академии наук. СПб., 1999. С. 112.

²⁰ Теплов Г. Н. Знания, касающиеся вообще до философии... // Философский век. СПб., 1998. № 3. С. 287.

²¹ Там же. С. 288.

²² Там же. С. 278.

²³ Словарь Академии Российской. Ч. IV. От З до М. СПб., 1792. Стб. 160.

²⁴ Дильтей Ф. Г. Первые основания универсальной истории с сокращенною хронологиею в пользу обучающегося российского дворянства: В 3 ч. М., 1762. Ч. 1. С. 7.

²⁵ Там же. С. 23.

²⁶ См: Кутина Л. Л. Указ. соч. С. 78.

²⁷ Там же. С. 78.

²⁸ Словарь Академии Российской. Ч. IV. От З до М. СПб, 1792. Стб. 145; 158; 159.

²⁹ Эйлер Л. Письма о разных физических и философских материях. СПб., 1768. Ч. I. С. 241.

³⁰ Там же. С. 242.

³¹ Тредиаковский В. К. Слово о мудрости, благоразумии и добродетели // Сочинения и переводы как стихами, так и прозою: В 2 т. СПб., 1752. Т. 2. С. 271.

³² Веселитский В. В. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — нач. XIX века. М., 1972. С. 72.

³³ Там же. С. 33.

³⁴ Там же. С. 60.

³⁵ Там же. С. 128–129.

³⁶ Там же. С. 139–141.

T. Artemyeva

PHILOSOPHICAL LANGUAGE IN THE XVIII CENTURY RUSSIA: BETWEEN PHYSICS AND METAPHYSICS

The article expands on the conditions in Russia of the mentioned period. In the 18-th century in Russia there was no well-developed system of philosophical concepts. Which is why philosophers had to borrow concepts from different philosophical systems and to adapt or translate their into Russian. The author of the article investigates the history of many philosophic and scientific concepts, discovers the tendencies of their existence in Russian philosophical language, gives examples.